



Н. А. МЕЛЬГУНОВ

Шеллинг

(Из путевых записок)

Во все время моего пребывания в Мюнхене Шеллинга там не было. Мой приезд в этот город можно назвать весьма неудачным. Прожив там почти всю осень (1836 года), я не видал ни Пинакотски¹, ни Эслера, ни Шеллинга, не был ни на одной лекции. Пинакотска отстроивалась; Эслер лежал при смерти; университет, по случаю ферий², был закрыт; профессоры, а в числе их и Шеллинг, пользуясь свободным временем, разъехались в разные стороны. Шуберт отправился в Сирию и Египет, Тирш³ поехал в Париж, иные переехали на дачи, Шеллинг исчез... исчез буквально: никто не знал, куда он девался.

Только перед отъездом своим успел я мельком, и то по особой милости, заглянуть в Пинакотску; также удалось мне видеть на сцене и выздоровевшего, хотя еще слабого, Эслера, но видеть раз, в Аббате л'Эне, где Эслер, этот «германский лев», как его прежде называли, представился мне существом овечкой. Наконец, перед отъездом же, узнал я случайно и о месте, где скрывается Шеллинг. Один молодой литератор, только что приехавший из Стутгарта, сказывал мне, что, проезжая через Аугсбург, слышал он, будто Шеллинг там, живет в одной отдаленной гостинице, от всех скрывается, и что-то пишет. Я собирался тогда в Париж через Стутгарт и Страсбург; Аугсбург мне был по дороге. Как кстати посетить Шеллинга! Я спешу с своей вестью к одному из самых близких к Шеллингу людей — к Сульпицию Буассере⁴. Буассере встречает меня тем же: и ему удалось узнать, где кроется знаменитый философ. Но как помочь мне? Пребывание Шеллинга в Аугсбурге — тайна: он не сказал о том даже друзьям своим. В целом Мюнхене тайну эту открыл он только г-же Шеллинг; да и та говорит всем, что муж ее в деревне, никому не дает его адреса, и тех, кто желал бы

писать к нему, просит, чтоб письма доставляли к ней. «Шеллинг уединяется часто, — сказал мне Буассере, — он пишет свою систему, но бывает редко доволен написанным и часто уничтожает свои рукописи. Лет шесть тому назад он напечатал было у Котта⁵ первый том своего сочинения: “Die drei Weltalter”; но экземпляры до сих пор лежат в магазине Котта в Стутгарте, запечатанные самим Шеллингом. Никто, ни даже издатель, не смеет заглянуть в них. Не думайте, однако, — продолжал Буассере, — чтоб эта нерешимость и переменчивость происходили в Шеллинге от незрелости его системы и шаткости его основных положений. Нисколько. Его академические чтения, в продолжение нескольких лет, почти те же, и он изменяет их разве в частностях. Нет, не сущностью своей системы, а ее формой он недоволен. Так, например, он желал бы написать ее сколько можно удобопонятнее, имея в виду не одних Немцев, но и Англичан, и Французов: сделать философию свою доступною всем образованным народам — это его любимая мысль, о которой он уже намекнул в предисловии к переводу одного сочинения Кузена⁶. Шеллинг давно отстал от мнения, будто наука мудрости должна быть исключительной принадлежностью одной малочисленной касты и преподаваема на каком-то условном языке, понятном только для немногих. Историческая метода, которую он принял для некоторых частей своей системы, естественным образом придаст и языку его более объективности. Года с два тому назад принялся он снова за изложение всей своей системы, и прошедшею зимою сказывал мне, что уже окончил философию мифологии. Теперь он, верно, занимается отделкою прочих частей своего здания».

В Германии иногда упрекают Шеллинга в том, что он умеет лишь философствовать, но полной системы философической никогда построить не в состоянии. Его лекции, как уже замечено, доказывают противное. Впрочем, эта недоконченность системы, это всегдашнее недовольство избранною для нее формою не есть ли скорее признак добросовестного, бескорыстного искания истины? Не доказывает ли это, что Шеллинг уразумел настоящий ее характер и значение и, вместо того чтобы почитать свою систему последним звеном в цепи систем философских, верит скорее в бесконечность пути познания, удаляя от себя надменную мысль, будто человечество совершило уже свой умственный подвиг? Он понял, что мы можем открывать только *истины*; но что *истина* нам недоступна. Сам Гегель, этот гордый систематик, с глазу на глаз сознавался Францу Баадеру, незадолго до своей кончины, что у него нет системы, что

он не успел еще составить стройного целого. Это бессилие, как уверял меня Баадер, составляло мучение его жизни. Но Гегель, верно, не сознавался в том пред учениками своими, а, напротив, уверял их, что система его сомкнута и окончена. Если справедливо сравнивают Гегеля, по его диалектической силе и строгому анализу, с Аристотелем, а Шеллинга, по возвышенности его идей и поэтическому полету его философствующей фантазии, с Платоном, то это сравнение можно еще усилить и тем, что после Гегеля, как и после Аристотеля, осталось множество сочинений, составляющих из себя что-то похожее на целое; Шеллинг же, как и Платон, написал лишь несколько отрывков, без видимой связи между ими, и одним ученикам поверяет вполне тайну своей системы, ее последнее слово.

— Правда ли, — спросил я у Буассере, — будто Шеллинг до того колебался в выборе приличной формы для своей системы, что когда-то решался даже изложить ее метрически, в виде поэмы?

«Клевета, как и то, что он будто сделался католиком, как и многое другое, — отвечал Буассере. — Шеллинг писал когда-то в молодости стихи, но никогда не думал писать своей системы метрически; Шеллинг весьма склонен к первобытному христианству, но это далеко до католицизма, и он, уверяю вас, остался до сих пор верен протестантской церкви, в которой взрос и воспитан».

Этому легко поверить. В Германии теперь мода смеяться над философией и философами. Недавно Левальд⁷ в одной книге своей рассказывал, будто напротив квартиры Шеллинга в Мюнхене висит на доме большая вывеска с надписью: «Reale Bierbrauerey», реальная пивоварня («Reale», непере译имое слово, значит: подлинный, настоящий, неподложный). Оно бы, казалось, и забавно, что напротив дома *идеального* немецкого философа стоит *реальная* немецкая пивоварня; можно бы, кстати, назвать и улицу, где идеализм и реализм так кстати живут друг против друга, *улицею тождества*, да и еще придумать многое другое; но, на беду Левальда и подобных ему насмешников, Шеллинг живет в бельэтаже известного в целом городе дома барона Котта, и напротив его нет и не было ни реальной, ни простой пивоварни. Вероятно, пивоварня, которую видел Левальд, чисто идеальная и существует в одном его воображении. После того мудрено ли, что на Шеллинга взводили и другие, еще большие небылицы, что иные, не довольствуясь шутками, из особенный целей, с намерением менее невинным, искали запятнать его славу. Клеветали на него, порочили его

ученье? Некоторые, как известно, обвиняют Шеллинга в обскурантизме, иезуитизме и тому подобном. Гейне, а за ним и вся «Юная Германия»⁸ без обиняков приписывают Шеллингу намерение — своей системою содействовать восстановлению папизма, и называют ее продолжением системы иезуитов. К этим обвинениям, вообще несправедливым, главным поводом служило особенное положение Шеллинга в Мюнхене. Один из молодых немецких публицистов и критиков Густав Шлезьер⁹, которого нельзя подозревать в излишнем пристрастии ни к иезуитам, ни к «Юной Германии» и которого мнение, стало быть, беспристрастно, недавно писал: «Шеллинг стоит в Мюнхене совершенно одиноко и почти невольно сделался средоточием римско-католического движения». Вообще, из слышанного мною надо заключать, что Шеллинг, вследствие разных случайных обстоятельств, сделался не главою и не двигателем, а что просто некоторые партии думали в нем найти себе пособие и оправдание; что системы своей не подчинил добровольно никакому временному направлению, никаким частным целям, а что другие, напротив, воспользовались его системою для своих видов, оперлись на нее, как на силу века, и на этом современном основании вздумали пересоздать прошедшее. Шеллинг поддался этому — из слабости, позволил философию свою унижить до средства — из снисхождения; но сам остался непричастен ни к каким иезуитским интригам и проискам. Он, как говорит Шлезьер, стоит совершенно одиноко в Мюнхене и не имеет ни многочисленной школы, ни многочисленных друзей и последователей. Он так удалился в свой мир идей, в свое царство отвлеченностей, что не может принимать деятельного участия ни в какой партии, ни в какой секте, ни религиозной, ни политической.

Но — такова участь Шеллинга — в то время как ослепленные духом партии поборники юной школы обвиняют его учение в иезуитизме и возвращении вспять — некоторые журналы наши находят в философии Шеллинга «какую-то тайную цель, какое-то скрытное стремление, напечатленное немецкою осторожностью (?); намекают, что восстановление верования есть только средство этой будто политической секты, что лозунг Шеллинга тот же, что и аббата Ламне¹⁰; что как скоро эти врачи душевных болезней века, как они будто себя называют, вылечат свой век, то знают, что сделают его здоровым», и пр. и пр.

Если такие намеки и обвинения не есть признак совершенного незнания того, в каком состоянии находятся теперь умы в Германии, то это, конечно, самая неблагонамеренная ложь, ос-

нованная на обидном предположении, будто перед русской публикой можно безнаказанно клеветать на кого хочешь. Шеллинг и аббат Ламне! Основатель системы, которую обвиняют в иезуитизме, и Автор «Des affaires de Rome»! Протестант, которого упрекают в переходе к католицизму, и католический аббат, который нападает на папу, отрекается от него, предсказывает близкий конец римской церкви! Наконец, друг короля баварского, наставник его детей, известный приверженец монархического образа правления — и сочинитель книги, которая проповедует раздор и ненависть!..

Но я очень хорошо знаю, что те, которые смеют клеветать на Шеллинга и на немецкую философию, имеют в виду не его и не философические системы Германии; что им до Шеллинга так же мало дела, как и Шеллингу до них. Нет, эта клевета и эта ложь устремлена не на знаменитого основателя системы тождества: судьба поставила его слишком далеко, а гений слишком высоко от низких порицателей, и ядовитые их стрелы до него не долетят; эта клевета и эта ложь устремлена на тех русских, в особенности же московских литераторов, которые имели счастье не понравиться благонамеренным журналистам и о которых известно, что они занимаются немецкой философией.

Не менее того, я не вижу, почему за то, что этим журналистам не нравятся некоторые московские литераторы, — Шеллинг и немецкая философия должны быть подвергнуты той же, как и они, опале. Говорите о своих противниках прямо и косвенно сколько угодно; но оставьте в покое великого мужа, который вам ничего не сделал, и его учение, которого вы вовсе не знаете.

Странные судьбы Шеллинговой системы! Сколько обстоятельств против нее! Говоря о Шеллинге, нельзя умолчать, что он с некоторых пор перестал пользоваться в Германии прежнею знаменитостью; тому много причин. Упадок его философского кредита происходит, с одной стороны, оттого, что он в последние двадцать пять лет всю литераторскую деятельность свою ограничил одними лекциями и почти ничего не издал; с другой стороны, и от успеха новой философской системы бывшего его товарища и друга, а потом соперника Гегеля, который оригинальностью, смелостью своих выводов — хотя он отправлялся от тех же начал, что и Шеллинг, — но, еще более, своею неусыпной литературной деятельностью помрачил славу своего предшественника и обратил философствующие умы на свою сторону. Кроме нескольких слушателей, большею частью Баварцев или Вюртембергцев, посещающих Мюнхенский Уни-

верситет, почти никто не знает теперешней системы Шеллинга; немногие ученики его, перенесшие учение своего наставника в другие высшие училища, или не отличаются блестящими дарованиями, или преподают в малоизвестных академиях Южной и Западной Германии; между тем как почти во всех университетах, которые теперь неоспоримо лучшие в Германии и посещаются более других, кафедры философии заняты учениками и последователями Гегеля. Надобно сказать и то, что как прежняя система Шеллинга, не сведенная им в стройное целое, вся распалась на фрагменты и истощилась в частных применениях и, искаженная формализмом, не удовлетворяя более современным потребностям, потеряла всю свою жизненную силу; так его теперешняя система, по-видимому, совершенно измененная если не в основаниях, то в направлении, форме и методе, по странной таинственности, которою облечена творцом своим, еще не имела случая, ни возможности получить общую известность; тогда как система Гегеля, значительно развитая самим главою, приведенная им в большее единство и округленность, беспрестанно применяемая ко всем возможным наукам даровитыми и многочисленными учениками, а сверх всего этого, имеющая на стороне своей неоспоримое преимущество новosti, богатая результатами смелыми, резкими, прельщающая ум надменностью, можно сказать, дерзостью положений, быстро и победоносно распространилась по всей Германии. В то время как новая система Шеллинга зрела в тиши, преподавалась малочисленному кругу друзей и слушателей, обязанных почти клятвою не переносить через порог академический учения своего наставника и хранить это учение как тайну, лишь для себя, не делясь им с непосвященными, — система Гегеля гордо водружала свое знамя, образовывала школу, почти секту, завладела журналами, воссела на сотни кафедр и засыпала книжную Германию бесчисленными сочинениями. Явно, что все внешние выгоды были и есть на стороне ее.

Друзья Шеллинга, зная его нерешимость, переменчивость, сомневаются, чтобы он когда-нибудь окончил свой труд; при отсутствии полного изложения его системы новое учение едва ли может приобрести заслуженную известность и распространиться по Германии. Знающие Шеллинга сомневаются, чтобы он сам решился когда-нибудь издать свою систему; по смерти же его изложить ее другим — будет весьма трудно. Шеллинг, как уверяли меня, не пишет вполне своих лекций. За час, за полчаса до того, как ему идти в университет, он — на письмо довольно ленивый — подходит к своему письменному столу и

наскоро набрасывает схему или очерк лекции, которым потом и руководствуется. Эти очерки он изменяет почти с каждым новым курсом, так что, по его собственному признанию, другой кто, кроме его, если бы захотел при их помощи изложить его систему, не извлечет из них ничего существенно важного. Конечно, тетради слушателей, собранные в значительном количестве, из разных годов, и тщательно сличенные вместе, как то сделано было для некоторых курсов Канта и Гегеля, могли бы быть, по смерти Шеллинга, важным пособием к составлению чего-нибудь полного и связного; но прежние примеры таких *сводо*в, например физической географии Канта, истории философии Гегеля и многих других, достаточно доказывают, как такие *воссоздания* или, правильнее, такие мозаики — неудовлетворительны, бледны, мертвы, как слабо заменяют живое слово, собственную речь учителя! Нельзя любителям и ценителям философии не пожелать Шеллингу успеха и постоянства в предпринятом им труде; нельзя не принять живого участия в тяжелом, по-видимому, для него подвиге — изложить письменно свою систему: ибо, если труд его будет покинут, недокончен, сколько великих, гениальных идей померкнет, быть может, навсегда, сколько не оцененного для человечества невозвратно погибнет вместе с его смертью! Потеря будет неизмерима*.

Нет сомнения, эта-то малоизвестность Шеллинговой системы и главной причиною того, что как она сама, так и ее основатель сделались предметом самой противоположной клеветы. Недоброжелательным и злонамеренным людям было легко распускать самые нелепые слухи о таком учении, которое скрывалось в одной отдаленной аудитории и не ограждало себя гласностью. Я заметил это Буассере, и он согласился со мною, что Шеллинг своею скрытностью сам подает повод ко всем небылицам, которые из него взводят.

* Сомнения и опасения друзей Шеллинга подтверждаются. По последним известиям, дошедшим до меня, Шеллинг снова раздумал писать и издавать свою систему, сознаваясь, что ему гораздо легче излагать ее изустно, чем письменно. Чтоб пособить этому, король баварский назначил Шеллингу искусного и опытного секретаря, которого обязанность — составить полный курс его философии под надзором самого учителя. Особенные стенографы должны записывать все его лекции и передавать их секретарю, который потом, пересмотрев, сличив с другими списками и исправив, представляет их Шеллингу. Надобно надеяться, что хотя этим средством сохранится для потомства учение, которому иначе угрожает незаслуженное забвение и неизвестность.

«Он до того простирает заботливость о целости своей системы, — сказал мне Буассере, — что строго запрещает уникам своим сообщать посторонним их академические тетради, разумеется, из боязни, чтобы через переписку не исказился смысл его учения. Даже друзьям своим не дает он своих рукописей».

— Если Шеллинг, — заметил я, возвращаясь к прежнему разговору, — так же скрывает свое пребывание в Аугсбурге, как он скрывает свою систему, то неприлично же нарушать его тайну и его уединение. Как вы об этом думаете? «Попробуйте, сходите к нему, — отвечал Буассере, — может статься, он вас и примет. Если же нет, то по крайней мере ваша странническая совесть будет успокоена: вы сделали, что могли. Для такого человека, как Шеллинг, почему не подвергнуться маленькой неприятности — получить отказ? Побывайте у него; если он примет, то, ручаюсь, примет вас радушно, и вы в труде раскаиваться не будете. Охотно бы дал вам к нему письмо; но предполагается, что я не знаю, где он теперь. Впрочем, отвезите от меня к нему поклон; скажите, что здесь, в Мюнхене, носятся слухи, будто он в Аугсбурге, и что я посылаю через вас поклон на случай, если эти слухи справедливы. Дать же письмо — значило бы показать ему, что я утвердительно знаю, где он находится, значило бы явно нарушать его тайну, которой он мне, правда, не верил, но которая через это не перестанет быть тайною; да это было бы притом как бы упреком в скрытности и недоверчивости к друзьям своим».

После такого обстоятельного объяснения причин, почему не могу получить к Шеллингу письма, я должен был довольствоваться поклоном Буассере, к которому покойный кн. Г., а также и Т., оба приятели Шеллинга, хотя в разных степенях и родах, присоединили и свои. Снабженный этими тремя поклонами, я отправился в Аугсбург с твердым намерением отыскать Шеллинга и, если примет, отвесить ему в три темпа поклоны трех мюнхенских его приятелей.

На другой день по приезде моем в Аугсбург послал я рано поутру наемного слугу отыскивать Шеллинга и приказал, когда найдет его квартиру, отдать ему мою карточку, да сказать, что я прошу у него позволения посетить его — в какое время дня ему угодно.

Часа через полтора слуга воротился с ответом, что господин тайный советник фон Шеллинг извиняется, что за теснотою и отдаленностью не может принять меня у себя, но что он сам придет ко мне в четыре часа после обеда (в благословенной

Германии это время считают послеобеденным, потому что там обедают в час, редко в два).

«Ну уж забился он в угол», — сказал мне говорливый лон-лакей¹¹. «Избегал весь город, прежде чем мог отыскать его гостиницу. Это совсем на конце, почти у выезда. Живет же он в небольшой комнатке; а когда служанка отнесла к нему вашу карточку, то он сам ко мне вышел с ответом. Ведь г. тайный советник из Мюнхена?»

— Да; он тамошний профессор и президент Академии Наук. «Президент? So!»

После такого объяснения лакей, видя, что я человек не простой, ибо вожусь с господами королевскими президентами и принимаю от них визиты, вышел от меня почтительно, подаваясь спиной назад, в ожидании дальнейших приказаний.

Итак, я увижу Шеллинга!.. Буассере прав; рекомендательное письмо было бы почти лишним. Однако почему Шеллинг, не имея обо мне никакого понятия, оказывает мне такую честь, и не только нарушает для меня обет уединения, но еще сам собирается навестить меня? Причины такого предпочтения заключались, думаю, в моей визитной карточке: я Русский, а Шеллинг любит Россию и Русских; да и вообще в Германии мы пользуемся большим уважением: там охотно верят нам в кредит, почтительно признают наше политическое могущество и силу, с любопытством и часто с любовью следят за ходом нашего образования и нашим умственным развитием. Я знал, что Шеллинг в особенности, в противоположность Герресу, имеет о России высокое понятие и ожидает от нее великих услуг для человечества. Кроме этой важной причины предпочтения, оказанного мне Шеллингом, было еще две: одна заключалась в незначущей у нас, даже непереводимой по-русски, но весьма важной в Германии частицы *de*, которая стояла на карточке перед моим именем; другая, думаю, в том, что там же было написано: *из Москвы*. Шеллинг любит Москву, как представительницу России, любит ее и потому, что, как ему известно, в ней много занимаются его системой философии. Ко всем этим причинам, заключавшимся в моей визитной карточке, надо было присоединить и ту, что, по словам лон-лакея, Шеллинг ожидал сына своего из Тюбингена и, вероятно, взволнованный ожиданием, почитал тот день потерянным для своих занятий. Наконец, ему было известно, что я приехал прямо из Мюнхена, где в то время ждали со страхом еще небывалую там гостью, холеру, и где оставалось семейство Шеллинга. Когда я перечел в уме все эти причины неожиданной чести, которую

Шеллинг хотел оказать мне, — тщеславие, пробудившееся во мне на минуту, тотчас утихло, и я с полным смирением стал ожидать к себе высокого посетителя.

В 5 минут пятого по моим часам (они, верно, уходили 5 минут от городских) вбежал запыхавшись в мою комнату лон-лакей, за ним Кельнер¹², оба с известием, что г. тайный советник фон Шеллинг спрашивает обо мне и желает меня видеть.

— Разумеется, просить.

Вскоре после того дверь в мою комнату отворилась и в нее вошел мужчина лет шестидесяти, среднего роста, довольно плотный, в широком темно-коричневом сюртуке, несколько с приемами старого немецкого придворного. Во всей его наружности было что-то почтенное, приветливое, но вместе и тяжело-весно-светское: какая-то смесь ученого с придворным.

Это был Шеллинг. — Мы встретили друг друга обоюдными извинениями. Я извинился в том, что доставил ему труд прийти ко мне; он — в том, что не мог принять у себя.

Тут мы сели. Я посадил знаменитого гостя на софу, а сам сел напротив. Пока он повторял мне причины, почему не мог меня принять, я внимательно рассматривал его физиономию.

Наружность и лицо Шеллинга принадлежат к числу тех, которые не поражают с первого взгляда. Это наружность и лицо немецкого ученого, и не нового, а старого поколения. Но всмотритесь пристальнее: вы откроете в нем черты не общие. Всего более вас поразит форма лба его: он не столько высок, сколько необыкновенно широк. Если бы я писал не по-русски, а по-немецки, то, разумеется, избежал бы сравнения, которое, по-моему, всего лучше живописует лоб Шеллинга. Но по-русски оно недвусмысленно: это лоб *бычачий*, что-то, обличающее силу не только умственную, но, можно сказать, и физическую. Седые с прожелтью и еще густые волосы окружают этот могущественный лоб, по которому ни лета, ни постоянные глубокие размышления не провели морщин: он гладок столько, сколько лоб шестидесятилетнего человека может быть гладок; нет на нем признаков усилий и головоломного труда. Идеи в этой гениальной голове рождаются, нет сомнения, легко и свободно; за это можно поручиться, взглянув хоть раз на лоб и на глаза Шеллинга. Эти последние с первого взгляда так же мало примечательны, как и вся физиономия его: это серые, средней величины глаза, без всякой особой выразительности; но вас поразит их необыкновенная светлость, которая, по словам одного из старых друзей Шеллинга, в молодости его была такова, что в них можно было глядеться, как в зеркало. Теперь они от лет

и от упражнений, конечно, несколько потускнели, но все еще очень светлы. Мне прежде много говорили о сократическом носе Шеллинга; действительно, если смотреть на его лицо с боку, то нос, довольно широкий в низу и как бы сплюснутый, покажется вздернутым, и тогда вся физиономия Шеллинга является с выражением тонкой и вместе едкой насмешливости, которую еще более усиливает болезненно-желчный цвет лица и поднятые кверху, несколько изогнутые, углы рта. Но спереди ни нос, ни вся физиономия не имеют этого выражения; и широкое, круглое лицо Шеллинга скорее кажется добродушным, чем насмешливым.

Еще в Мюнхене видел я портрет Шеллинга, снятый с него, по поручению кронпринца, известным Штилером. Сходство есть: когда вошел Шеллинг, я тотчас узнал его по портрету. Но сходство это, говоря о общей физиономии, не очень значительно, у Штилера Шеллинг представлен светским человеком, почти щеголем; волосы его взбиты кудрями, галстук повязан с рачением¹³, фрак, сшитый по моде, живописно драпированная шинель, а вместе и ловкое положение тела заставляют принять его скорее за придворного, чем за немецкого философа и профессора; между тем как у настоящего Шеллинга ничего этого нет: его одежда проста, даже неизящна, волосы разбросаны кое-как, белый узенький галстук не повязан, а обмотан около шеи, и положения тела его не имеют в себе ничего придворно-светского. В начале нашей беседы он сидел, прислонясь к спинке софы и опираясь на свою тросточку; потом, когда разговор оживился, он тросточку отставил в сторону, придвинулся к столу и, запрятав руки в свои широкие рукава, положил их на стол, как будто бы сидел на кафедре и читал лекцию. Конечно, при короле своем Шеллинг не принимает таких положений и не одевается так просто, но все-таки я не думаю, чтобы он был когда-либо птиметром¹⁴, и весь грех остается на душе Штилера.

Шеллинг объявил мне, что он ждет к вечеру сына своего из Тюбингена, где этот учится. Сын должен был на другой день отправиться в Мюнхен к матери, а вечер провести с отцом.

«Я бы охотно уделил вам часть вечера, — сказал мне Шеллинг, — если б не ждал сына. Мы с ним давно не видались, и нам есть много кое о чем переговорить».

За этим Шеллинг спросил меня, не слышно ли чего о холере в Мюнхене, и сказал, что, если она там появится, он немедленно поедет к семейству; в противном случае останется в Аугсбурге до окончания феерий.

Я передал ему поклоны от кн. Г., Т. и Сульпиция Буассере. Он распространился об этом последнем, называл его одним из отличнейших людей в Мюнхене, и спросил меня, видел ли я собрание картин на стекле гг. Бертрана и Мельхиора, Буассере, брата Сульпиия, живущих вместе. На мой утвердительный ответ Шеллинг сказал с простодушием: «Если бы я был богат, то украсил бы целую комнату такими картинами и удалялся бы в нее в известные часы дня. Ничто не располагает так к размышлению, как эта воздушная живопись».

Видно было, что это желание Шеллинга давнее и глубокое. Он высказал его с таким непритворным чистосердечием, что я невольно подумал в себе: если б можно, то накупил бы таких картин и, в отсутствие Шеллинга, украсил бы ими кабинет его. Как бы он, воротясь, обрадовался!

После такого наивного излияния своего сердца Шеллинг, не помню каким образом, обратился к политике и заговорил о португальских делах, которые на ту пору наполняли газеты. Я искал свидания с Шеллингом, право, не за тем, чтоб рассуждать с ним о политике, и потому старался обратить разговор на другой предмет. Могу, однако, уверить, что политические мнения Шеллинга диаметрально противоположны тем, которые так благонамеренно приписываются ему и его школе некоторыми русскими журналистами.

Я заговорил о России, о Москве, о любви учащегося юношества русского к немецкой философии, в особенности к его прежней системе, изъявив притом сожаление, что его новая еще так мало у нас известна. Шеллинг отвечал мне, что ему было бы весьма по сердцу войти с Россией в умственный союз, и он всегда желал, чтоб Русские более посещали его лекции.

Я напомнил ему о некоторых прежних его слушателях; он спросил меня о г. Погодине, который посетил его за год перед этим.

«Я слышал, — примолвил он, — что г. Погодин издает или издал, какое-то сочинение о философии истории».

Шеллинг разумел, вероятно, *Исторические Афоризмы* г. Погодина.

«Я сожалею, — сказал Шеллинг, — что не читаю по-русски; мне было бы любопытно следовать за ходом вашей юной и свежей образованности».

Он спрашивал меня также о Тург<еневе>¹⁵, с которым несколько лет тому назад ездил в Венецию; о Ч.¹⁶ и о некоторых других своих русских знакомых. Видно, что ему приятно было знать, какое у нас участие принимают в его философских тру-

дах; и когда я сказал ему, как один петербургский журналист вздумал смеяться над его учением, как неуместные насмешки журналиста возбудили негодование во всех тех, кому, хотя по слухам, известна система мюнхенского философа, Шеллингу было явно приятно слышать о таком к нему сочувствии, и он сказал мне, улыбаясь: «Я уверен, между вами найдутся защитники; к неприличным же нападкам я привык и в Германии».

Когда вопросы Шеллинга о России истоцились, я решился круто повернуть разговор на предмет его занятий, на философию.

— В Мюнхене слухи, — сказал я, — что вы поехали сюда для какого-то литературного труда. Вы, верно, извините нескромное любопытство путешественника и позвольте мне спросить у вас, правда ли это?

«Да, — отвечал Шеллинг, — я удалился сюда, чтобы писать изложение своей системы. В Мюнхене это невозможно: там я завален делами и по университету, и по академии; этот город не для ученых занятий, в нем беспрестанные помехи извне. Так, нынешней зимою придется мне, кроме университетских лекций, читать еще лекции нашему кронпринцу, который изъявил желание прослушать курс моей философии. Это требует особенного труда, ибо кронпринцу, да еще в течение одной зимы, нельзя же изложить философской системы в той же форме и в том же объеме, в каком я преподаю ее своим университетским слушателям. Это у меня отнимет много времени; но делать нечего. У меня в жизни были вечные помехи; я во всегдашней зависимости от обстоятельств, и мне никогда не дают спокойно окончить труда своего. Так и теперь; я располагал провести здесь все феерии и дописать одно отделение своей системы; но, если в Мюнхене покажется холера, мне придется тогда все бросать и ехать к семейству».

Боязнь Шеллинга оправдалась. Спустя неделю после моего с ним свидания, в Стутгарте я узнал, что холера проникла и в Мюнхен; труд Шеллинга был верно и на этот раз прерван.

— В чем заключается, — спросил я, — та часть вашей системы, которою вы теперь заняты?

«Это система философии позитивной, — отвечал Шеллинг, приняв положение профессора на кафедре, — моя совокупная система будет иметь четыре части или отделения. Первая часть есть вступление, в виде истории философии со времени Декарта: здесь естественным образом определится и настоящая метода философии. Эту часть я уже окончил. Теперь тружусь, как уже сказал, над системою философии положительной, которая

составит вторую часть. В ней изложены будут основные начала моей совокупной системы».

— Что значит *положительная* философия?

«Я этим выражением даю знать, что моя система философии не есть чисто идеальная, логически построенная, как Гегелева, и следственно, более или менее гипотетическая, но имеет корень свой в живой действительности, основана на самой природе вещей. За этими двумя частями будет следовать философия мифологии и философия веры. Эти две последние части только другая сторона (*le revers*) положительной философии. Каждая из них будет составлять отдельное сочинение. Впрочем, я издам их не иначе как вместе, чтобы ученая публика могла осмотреть мою систему со всех сторон и видеть, в какой связи ее части находятся между собою».

— Вы не упомянули о философии природы. Неужели она будет исключена из системы вашей?

«О, нет! о природе у меня совершенно новые мысли; но я никогда не обнародую их при жизни, ибо они должны быть подвержены опыту, хотя я и глубоко уверен в их истине. Это будет моим посмертным творением».

— Но почему не сообщите вы их германским или французским естествоиспытателям? Они бы ваши мысли подвергнули опытам.

«Естественными науками во всей их совокупности нигде не занимаются с таким успехом, как во Франции: там, я уверен, мои мысли о природе нашли бы скорее подтверждение. О, если бы я мог съездить за этим в Париж и пожить в нем! Через переписку же ничего не сделаешь. Впрочем, философия природы входит и во все другие части моей системы; но собственно она должна составлять отдельную ее часть, ее пятое отделение».

— Какое существенное отличие вашей теперешней системы от прежней?

«Она та же; главные, основные начала не изменены; только она *возведена в высшую степень*. Вы меня понимаете? Я стою теперь на высшей точке, чем прежде; но основание, которое меня поддерживает (*la base qui me soutient*), то же».

Здесь я хотел предложить Шеллингу несколько частных вопросов, и начать вопросом о произволе человека, которому, как известно, он дает в своей теперешней системе гораздо более места, чем в прежней. Но Шеллинг посмотрел на часы и, вставая, сказал: «Я жду сына. Вы меня извините. — Куда вы отсюда едете?»

Я отвечал, что еду в Париж, и спросил, не имеет ли он чего поручить мне.

«На этот раз ничего. Если увидите Кузена, то поклонитесь ему от меня. Куда писать к вам в Париже?»

— *Poste restante*.

«Прощайте. Надеюсь до свидания».

Тут, пожав друг другу руки, мы расстались...

Как некстати для меня Шеллинг вспомнил о сыне! Уйти в минуту, когда разговор стал оживляться, когда заговорили мы о философии! Читатели поймут, как тяжело мне было расставаться с Шеллингом и так скоро, и так внезапно.

Слышав прежде, что он хорошо говорит по-французски, я начал беседовать с ним на этом языке. Он точно говорил свободно, правильно, хотя и с немецким акцентом. Когда речь зашла о философии, он поневоле должен был прибегать и к немецким философским терминам. «Если вы читаете мои сочинения, — сказал он мне в извинение свое, — то уже верно понимаете по-немецки».

К концу беседы нашей Шеллинг стал очень прост как в словах, так и в приемах. Сначала, как я сказал, он мне показался каким-то старым немецким придворным с притязаниями на утонченную светскость и вежливость; но не прошло и пяти минут, как эта оболочка исчезла и передо мною явился Шеллинг во всей гениальной простоте своей.

Разговор наш продолжался около часа. По уходе Шеллинга я тотчас записал его. Вечером того же дня меня уже не было в Аугсбурге.

